

СКАЗ ЯЗЫКА КАК КАЗ БЫТИЯ: ОТ ХАЙДЕГГЕРА ДО ПОСТМОДЕРНИЗМА

Любовь С. Сысоева

Томский государственный педагогический университет, Комсомольский проспект, 75, оф. 326,
634041 Томск, Россия, эл. почта: sysojeva@mail.ru

В статье используется мысль М. Хайдеггера о том, что язык является образом бытия и одновременно путеводителем по нему. В концепции Хайдеггера это поэтический язык, демонстрирующий принцип: «не быть вещам, где слова нет». Имплицитность языка жизни представлена А. Тойнби в принципе этерификации (упрощения), а в эпистемологии, согласно М. Фуко, между словом и вещью устанавливаются разные отношения в зависимости от эпохи. В Ренессансе интенция идет от мира к Слову, которое расшифровывается в Божественной речи, в Новое время язык собирает в себе тотальность мира и выступает его Энциклопедией, в Современности, начиная с XIX века, связь между словом и пониманием бытия опосредована такими феноменами, как биологический организм человека и его труд. В супериндустриальном обществе закодированный поток информации свидетельствует о новом темпоральном бытии, вызывая словесно-образную перезагрузку человека. Постмодернизм, представив мир как текст, легитимировал ранее запретный ряд бинарных оппозиций и дал слово негативизму бытия. Русский художественный постмодернизм использовал опыт произведенной легитимации для стирания «слабого человека» в отечественной культуре с интенцией создания нового типа культуры из-за негодности старой.

Ключевые слова: язык, бытие, сознание, информация, присутствие, сказ, герменевтика, речь, вещь, слово, цивилизация, этерификация, эпистема, дискурс, интерпретация, текст, менталитет, образ, постмодернизм, культура, деконструкция

Введение

Согласно гипотезе Б. Ли-Уорфа, а также Э. Сепира, язык является определенным образом социальной действительности и одновременно путеводителем по ней. Язык оказал влияние на создание нашего образа мира, нашего поведения и реакций на различные стимулы. Поэтому Б. Ли-Уорф указывает также на аналогию между этой концепцией языка и теорией относительности А. Эйнштейна. Идея взаимных зависимостей и обратных связей между сущ-

ностями и процессами объективного мира, культурным уровнем мышления и структурой и элементами языка является, несомненно, плодотворной, хотя ее детальная разработка, которая до сих пор опирается на частичные исследования, является скорее программой будущих исследований (Тондл 1975: 13). Эта статья также является фрагментарным обзором отдельных материалов по этой теме, как представляется автору.

Нельзя сказать, что весь человеческий опыт уместается в языке, но сам опыт и его структура существуют только благодаря языку, поэтому можно сказать, что не только сознание отражает бытие, но и нет ничего в сознании, чего бы раньше не было в языке. Иначе, функции структурирования и различения являются первичными функциями языка. Именно потому, что нас в детстве научили языку, мы отличаем запах йода от запаха дегтя, потому что это различие поименовано в языке.

Слово и присутствие у М. Хайдеггера

«Наш язык называет надежное место пребывания *кровом*. Бытие есть кров, который укрывает человека, его экзистирующее существо в своей истине, делая домом экзистенции язык. Оттого язык есть вместе с домом бытия и жилище человеческого существа» (Хайдеггер 1993а: 218). Хайдеггер опирается на В. Гумбольта, одного из первых исследователей человеческого самовыражения в языке, поскольку его путь к языку берет курс на человека и ведет через язык к вскрытию и изображению духовного развития человеческого рода. Наш язык зовет нас думать о том, что с-казать – значит, показать, объявить, дать видеть, слышать. В свете этих отношений сказывания Хайдеггер называет существо языка сказом, хотя и оговаривается, что это пока самый общий подход, не указывающий на многообразие сказывания различного происхождения. В данном случае необходимо отмежеваться от понимания сказа как сказания (мифа, сказки), а понимать его в самом существенном смысле как каз или показ. *Существо языка есть сказ в качестве такого каза* (Хайдеггер 1993b: 266). Достигая в качестве каза всех областей присутствия, он являет или скрывает присутствующее. Путь к языку обретается непросто, а требует неотступного истолкования. Только тогда откроется

явленное и неявленное в кажущем сказе, только тогда может открыться потаенное, а беззвучный сказ события обретает звучание в речи. Событие оказывается в таком случае проделыванием пути сказа к речи с тем, чтобы высвободить показанное в особенность его явления. Язык был назван домом бытия, потому что он хранитель присутствия, введенного о-существляющему указанию сказа языка как первосвидетельства события.

Хайдеггер начал свой путь к языку через богословскую герменевтику, чтобы понять отношение между словом Священного писания и богословско-спекулятивной мыслью, что представлялось ему аналогией соотношений между языком и бытием, заимствовав этот путь у Вильгельма Дильтея и Фридриха Шлейермахера. Чтобы понимать речь другого, Хайдеггер обратился к герменевтике и литературной критике, чтобы при помощи герменевтической интерпретации текстов правильно понимать речь другого. Сам основной труд М. Хайдеггера «Бытие и время» становится герменевтическим истолкованием бытия. Слово дает намек, и в этом состоит один из следов на пути к пониманию языка, как, скажем, и жест, на чем строится герменевтика (от имени Гермеса – вестника богов), как истолкование и несение вести, извещение. При помощи герменевтики в «Бытии и времени» выводится на свет бытие сущего, т. е. присутствие присутствующего, потаенное пробивается в светлую открытость в смысле непотаенности, открытия на просвете. По выражению профессора Тезука из Токио, собеседника М. Хайдеггера, *намек же есть весть просвечивающей сокровенности* (Хайдеггер 1993с: 297).

Бытие приоткрывает свою тайну в языке, но не в научном, считает М. Хайдеггер, а в поэтическом. Он называет язык домом бытия, в котором обитает человек, осмысливающий эк-статическое существование как заботу в работе духа (1993b: 262). Поэту более всего раскрывается дар бытия, поскольку чувства более открыты бытию, нежели

интеллект, а это значит, что истина бытия остается для метафизики потаенной. Только тот язык, в котором мы видим в звуковом и письменном образе тело слова, в мелодии и ритме – душу, в семантике – дух языка, является домом бытия. Сказ языка – это каз бытия, всех областей присутствия. *Существо языка есть сказ в качестве такого каза* (1993b: 266). Хайдеггер видит в поэтическом сказе Гёльдерлина о «Возвращении домой» близость к бытию, «преодоление бездомности, в которой блуждают не только люди, но само существо человека» (1993a: 206), поэтому в стихотворениях Гёльдерлина дает о себе знать судьба мира. По сути, мысль дает в речи слово невыговоренному смыслу бытия. Бытие, высветляясь, просит слова и позволяет сказать-ся экзистирующей мысли.

Анализируя не случайно выбранное стихотворение Штефана Георге «Слово», Хайдеггер эту неслучайность подчеркивает заключительным стихом, созвучным его концепции языка: *не быть вещам, где слова нет*, т. е. нет вещи там, где отсутствует слово, где не хватает слова, там нет вещи. Или, что то же самое, *лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием* (1993d: 303). И если слова, имени нет для чудес, снов и богатого нежного клада, который нес поэт в руках, то и вынести в присутствие, ввести в бытие нечего, без имени поэт не может также сказать, что это за клад, в котором по причине необеспеченности словом ему отказано: безымянный он остался на дне родника. «Слово допускает вещи присутствовать как вещи» (1993a: 309). Таким образом, «сказ и бытие, слово и вещь неким прикровенным, едва продуманным и неизмыслимым образом взаимно принадлежат друг другу» (1993a: 312).

В анализе стихотворения Г. Тракля «Зимний вечер» Хайдеггер, хотя и не очень внятно с точки зрения современного, более лаконичного дискурса, демонстрирует прикровенность слова, несущего семантический

смысл, позволяющий представить каз ситуации в поэтическом сказе языка.

Если снег за окном идет,
К вечерней колокол сзывает,
У многих стол уже сияет
И дом в порядок приведен.

Иной странствовать уходит
За дверь на темную стезю.
Там золотятся деревья милостью
Из земли сочащегося духа.

Странник тихо ступает.
Болью окаменел порог.
Тут в сверкающем чертоге
На столе вино и хлеб
(Хайдеггер 1991: 6–7).

Философ наибольшее внимание уделяет выразительной метафоре *Болью окаменел порог* для одинокого больного путника, уходящего странствовать за дверь на темную стезю, в то время как другие, приведя в порядок дом и накрыв стол, идут к вечерне. Но странник предпочитает быть среди деревьев, золотящихся милостью из земли сочащегося духа, и в сверкающем чертоге Бога отблагодарить его вином и хлебом. Таково прикровенное бытие – такова сакральность языка, как это получается в одной из возможных интерпретаций.

Однако сам Хайдеггер расширил соотношение языка и показа бытия, выведя его за границы языка поэтического и осознав, что языковой характер имеет человеческий опыт мира вообще. Слова, которые используются философией, вбирают в себя существующие речевые значения, а потому смысл каждого слова живого языка входит одновременно в потенциальное значение термина. Философия, как никакая другая наука, имеет дело с нашим мировым опытом, выражаемым в языке. Мы до сих пор говорим, подчиняясь анималистическому языку человека тотемической организации и

мифологического объяснения мира, потому что тогда рождались первые слова человека как его первый крик наименования. Как поясняет Х.-Г. Гадамер, источник знания и предзнания берет свое начало в осевших в речи толкованиях мира, что сохраняет свою закономерность и тогда, когда хотят усовершенствовать идеальный научный язык, и это имеет значение и для философии (Гадамер 1988: 8). Не претендуя на твердость знания о тотальной картине мира, мы не можем игнорировать те представления, которые выражены в языке религиозной или народной мудрости, а также в языке произведений искусства.

Имплицитность языка жизни особенно ясно проявляется в античной философии и науке, «чье происхождение из языкового опыта мира составляет ее специфическое отличие и ее специфическую слабость», как отмечает Х.-Г. Гадамер, истолковывая мысли Хайдеггера. Наивный антропоцентризм человека античности проистекал из его включенности в естественное человеческое отношение к миру, которое определило ту созерцательно-познавательную позицию античных теорий, на основе которой греки воспринимали мировой порядок. Как говорил сам язык, строилась картина мира:

Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом

Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,

Сумрачный Тартар в земных залегающих недрах глубоких

И между вечными всеми богами прекраснейший – Эрос.

Сладкоистомый – у всех он богов и людей земнородных

Душу в груди покоряет и всех рассуждения лишает (Гесиод 2001).

В этой картине мира участвует сам созерцатель, чье знание укоренено в мифологическом опыте мира и подвержено его языковым соблазнам, что было преодолено

только современной наукой с ее направленностью на овладение сущим.

Цивилизационный принцип этерификации бытия и языка

В языковом оформлении человеческого опыта мира происходит не адекватное измерение и учет наличествующего, а обретает голос само сущее в том виде, в каком оно в качестве сущего и значимого являет себя человеку. И, как говорил Х. Г. Гадамер, сколь мало мир опредмечивается в языковом опыте, столь же мало история является предметом герменевтического сознания (Гадамер 1988: 12).

В этом смысле «Постижение истории» А. Дж. Тойнби можно считать и предметом герменевтического исследования, поскольку в нем представлен язык развития цивилизаций, запечатленный в материальной и духовной культуре. Согласно концепции А. Тойнби, история развития цивилизаций являет нам язык этерификации, связанный с законом прогрессирующего упрощения, прежде всего технического, представленного и отраженного в языке человеческого бытия (Тойнби 1990). Попробуем уяснить такую интерпретацию.

Так, замена мускульной силы механической привела не только к техническому прогрессу, но и изменила бытие, отразив его трансформацию в новых словах языка, изменив ментальность человека. Локомотив, паровоз, железная дорога, дизель, автомобиль – эти явления изменили не только окружающую среду, но и ландшафт человеческой души. Однако замена лошади новыми транспортными средствами не кажется Тойнби универсальным прогрессом бытия и его гуманизма. Он называет эти изменения процессом упрощения – этерификации, который в целом повлечет за собой и ментальную этерификацию, которая отразится и в снижении пафоса языка. Этерификация

средств связи, упразднив колокольный звон, снизила его языковое значение до звонка колокольчика при вызове прислуги, звонка входной двери и т. п. Понятие *пневматический*, бытовавшее как синоним духовного, опустилось до уровня простого нагнетания воздуха. Телефон, телеграф, затем телевизор стали теперь *телеками* и *сотиками*, упростив жизнь, но не возвысив индивида.

Письмо репрезентировало широчайшую сферу человеческого языка с максимальной экономией визуальных символов вплоть до изобретения консонативного алфавита финикийцами и греками. История языка и история письменности как выражения мысли через символ и знак, способный сохраниться в пространстве и времени, что фактически означало их техническое усовершенствование, не отменили разницу ментального выражения мысли с использованием различных значений флексий, предлогов и глагольных форм в разных языках, постепенно совершенствуясь (этерифицируясь) путем высвобождения от флексивных форм.

Переход от Птолемеевой системы мира к Коперниковой и Эйнштейновой – также фактор этерификации через объединение свойств движения, пространства, времени, гравитации и магнетизма в единую систему на основе изучения все более элементарных энергий. Техника может управлять и основными формами художественной жизни, часто вступая в противоречие с духом мира форм в отличие от теории соответствия, согласно которой дух и техника находятся друг к другу в отношении причины и следствия. Несмотря на то, что фактический результат этих технических усовершенствований – не потеря, а приобретение, сдвиг из более низкой сферы бытия в более высокую, Тойнби предпочитает называть это не прогрессом, а этерификацией, которая не может быть стимулом развития цивилизаций.

Как Сократ и Христос, он подводит к мысли, что истинная причина развития

бытия и формы его выражения – языка находится в сфере нуса (разума), души, духа, в переносе своих интересов из сферы физической в сферу психическую. *Ищите прежде Царствия Божия и Правды его, и это все вам приложится* (Матф. 6, 31–33). Современные цивилизации, являя собой мирское падение, не могут создать условия для жизни души и духа, что и выражается в языке, поэтому клирик стал клерком, евхаристия (причащение) обернулась коммунизмом, а массовая культура, увеличив ее знаменатель, означает ее всеобщее понижение, вульгаризируя язык до всеобщей сленговости.

Зависимость языка от эпистемы эпохи у М. Фуко

Процесс постепенной децентрации человека в мире, обусловленный его отказом от представления линейного совершенствования предзаданных свойств разума в истории культуры, сведенной к единому рациональному центру, обусловил изучение языка в контексте знаковой означающей системы, выявляя соотношение слов и вещей. Это относится к книге М. Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», в которой он вычленяет в европейской культуре Нового времени три *эпистемы*: ренессансную (XVI век), классическую (рационализм XVII–XVIII веков) и современную (с конца XVIII – начала XIX века и по настоящее время). Анализируя ренессансный язык, Фуко отмечает состояния подобия языка и вещей. Для этого он внимательно и детально всматривается в картину Веласкеса и характеризует расстановку персонажей картины «Менины». Эта картина Веласкеса является «определением того пространства, которое оно открывает. Действительно, оно здесь стремится представить себя во всех своих элементах, вместе со своими образами, взглядами, которыми оно предстает, лицами, которые оно делает видимыми,

жестами, которые его порождают. Однако здесь, в этой разбросанности, которую оно собирает, а заодно и расставляет по порядку, все указывает со всей непреложностью на существенный пробел – на необходимое исчезновение того, что обосновывает изображение: того, на кого оно похоже, и того, на чей взгляд оно есть всего лишь сходство. Был изъят сам субъект, который является одним и тем же. И изображение, освободившееся, наконец, от этого сковывающего его отношения, может представлять как чистое изображение» (Фуко 1994: 28), т. е. *является как бы изображением классического изображения*. На этой картине Веласкес изобразил себя в своей мастерской или в одном из салонов Эскуриала за работой над изображением двух лиц, на которых пришла посмотреть инфанта Маргарита, окруженная дуэньями, камеристками, придворными и карликами. Имена всех этих лиц считаются хорошо известными: согласно традиции, здесь находятся донья Мария Агустина Сармиенте, затем Нието, а на переднем плане шут – итальянец Николазо Пертузато. Достаточно добавить, что два важных лица, служащих моделью для художника, не видны, по крайней мере, непосредственно, хотя их можно увидеть в зеркале: несомненно, это король Филипп IV и его супруга Марианна (Фуко 1994: 24).

В ренессансной эпистеме слова и вещи тождественны друг другу (Н. Автономова). Вплоть до конца XVI столетия категория сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры. Именно она в значительной степени определяла толкование и интерпретацию текстов; организовывала игру символов, делая возможным познание вещей, видимых и невидимых; управляла искусством их представления. Мир замыкался на себе самом: земля повторяла небо, лица отражались в звездах, а трава скрывала в своих стеблях полезные для человека тайны. Живопись копировала пространство. И представление – будь то праздник или знание – выступало как повто-

рение: театр жизни или зеркало мира – вот как именовался любой язык, вот как он возвещал о себе и утверждал свое право на самовыражение (Фуко 1994: 29). Далее Фуко указывает на основные фигуры, определяющие строение языка в рамках категории сходства – это *п р и г н а н н о с т ь* (convenientia), так как соседство воспринимается не как внешнее отношение между вещами, а выступает знаком их, по крайней мере, смутного родства. Знаки этого синтаксиса, где различные существа взаимодействуют друг с другом: растение общается с животным, земля – с морем, человек – со всем, что его окружает, подробно иллюстрируются *натуралистами* этого периода, и Фуко их скрупулезно цитирует.

Второй формой подобия является *с о п е р н и ч е с т в о* (aemulatio). В соперничестве есть что-то от отражения в зеркале: посредством соперничества вещи, рассеянные в мире, вступают между собой в переключку. Где реальность и где отраженный образ? Зачастую это невозможно определить, так как соперничество является чем-то вроде естественного удвоения вещей. Третья форма подобия – *а н а л о г и я*. В аналогии совмещаются пригнанность и соперничество. Подобно соперничеству, аналогия обеспечивает удивительное столкновение сходств в пространстве; однако она, подобно пригнанности, говорит о взаимной пригонке вещей, их связях и соединениях. Четвертая форма подобия обеспечивается действием *с и м п а т и й*. Здесь никакой путь не предопределен заранее, никакое расстояние не предположено, никакая последовательность не предписана. Симпатия (и антипатия) свободно действует в глубинах мира. Таким образом, посредством сцепления сходства и пространства, благодаря действию этой пригнанности, сближающей подобное и породняющей близости, мир образует цепь вещей и замыкается на себе самом (Фуко 1994: 29–37).

Г. Порты, Т. Кампанеллы, У. Альдрованди, Цезальпини, Парацельса, Кролиуса – вот те дескрипторы мира, которые вписывают его в подобную картину мира, и Фуко с удовольствием цитирует их язык, выражающий эпистему начала Нового времени. С помощью вышеназванных черт велось доказательство правильного указания знаков на то, что они означают. «В XVI веке интерпретация шла от мира (одновременно вещей и текстов) к Божественной речи, которая в нем расшифровывалась; наша интерпретация, или, точнее, та интерпретация, которая сложилась в XIX веке, идет от людей, бога, от наших познаний или химер к словам, которые делают их возможными, и обнаруживается при этом не суверенность первозданной речи, а то, что мы, не раскрыв еще рта, подвластны языку и пронизаны им» (Фуко 1994: 213).

Классическая эпоха изменила диспозицию и занялась дискурсией представления, что и составило особенности языка эпохи, согласно М. Фуко. По его мнению, в эпоху Возрождения язык имел вполне изначальное слово, посредством которого движение речи обретало свое основание и предел. Но уже Дон Кихот совершает инверсию: он переходит от текстов, которые являются языком мира, к доказательству реальности того, что содержали тексты, которые уже были лишены реальности содержания. Вследствие этого слова у него блуждают наудачу, без сходства и аналогий, поскольку старые письмены и новые события не сходятся между собой. Фуко остроумно замечает, что Дон Кихот так усердно читал книги, что сам стал знаком в мире, который не узнавал запоздалого рыцарствующего странника (Фуко 1994: 46–48).

Роман Сервантеса стал символом Нового времени, в котором язык порывает со своим былым родством с вещами, так что Дон Кихот обозначает вещи, которые не сходны с вещами мира, в котором он живет, подобно безумцу. Другим выражением *вдохновенного*

бреда (Платон) является язык поэта, но в отличие от языка безумца, он находит скрытые формы родства вещей, их размытые подобия и приближает сходство вплотную к высказывающим его знакам. Это то, что мы видели в анализе поэтической речи у М. Хайдеггера.

Согласно классической парадигме рационализма, должен (или, по крайней мере, может) существовать язык, который собирает в своих словах тотальность мира, и наоборот, мир как тотальность представимого должен обладать способностью стать в своей совокупности Энциклопедией. По выражению филолога Шарля Бонне, язык в своей связности и линейной последовательности словесных знаков, в своей принадлежности представлению можно рассматривать как несметное множество Миров, как множество книг, собрание которых образует огромную Библиотеку Вселенной или истинную универсальную Энциклопедию. Эта чудесная градация облегчит высшим умам представлять и анализировать мышление, читать достижение истин любого рода, которые она содержит в себе и вкладывает в их познание этот порядок и это последовательное развитие, составляющие их самую существенную красоту (Фуко 1994: 73).

Начиная с XIX века, вновь актуализируется язык в его бытии, однако отныне язык «будет расти без начала, без конца и без обещания» (Фуко 1994: 45). К человеку теперь можно приблизиться, лишь познавая его биологический организм, производимые им предметы через анализ жизни, труда, языка, на котором он говорит. Отличительным признаком этой трехосновной эпистемы оказывается проблема человека как биологически конечного существа, обреченного на труд под страхом голодной смерти и пронизанного структурами языка, созданного не им, а возникшего раньше его. В современной эпистеме слова и вещи опосредованы *языком, жизнью, трудом* (Фуко 1994: 177), вышедшими за рамки пространства представления. Эти темы антропологии оказываются

решающими, под их воздействием формируется современная знаковая парадигма языка, означая существенно важные проблемы бытия человека как проблемы истории, где язык бытия формируется теориями Риккардо и Маркса. Для современного мышления важнейшими областями действия языка, как пишет Фуко, являются интерпретация и формализация, или, иначе, выявление того, что, собственно, сказано в языке и что вообще может быть в нем сказано. Предел интерпретации – столкновение с тем бессознательным, которое не выразиимо ни в каком языке (Фрейд и феноменология).

Теперь проблемой становится уже не познание природы, внешнего мира, но познание человеком самого себя: своего живого тела, обыденного труда и привычного языка, которые до сих пор были для него естественными, оставаясь при этом непонятными. Репрезентация человека началась с наук о человеческом труде, о его жизни, которая шире труда, о языке, потому что добраться до человека можно только через посредство слов. Труд, жизнь, язык, таким образом, являются как *трансценденталии*, которые делают возможным объективное познание живых существ, законов производства, форм языка. Во всей своей толще вплоть до самых архаических звуков, впервые отделенных от крика, язык хранит свою функцию представления; в каждом из своих сочленений из глубины времен, он всегда именовал. Язык в себе самом есть не что иное, как бесконечный шепот именований, которые перекрывают друг друга, сжимаются, прячутся, но, тем не менее, сохраняются, позволяя анализировать или составлять самые сложные представления (Фуко 1994: 86–87).

Современный человек, т. е. человек, который определяется своим телесным существованием, трудом и речью, возможен лишь в виде образа конечного человеческого бытия, которое опять же репрезентируется языком в своем развитии (Фуко 1994: 250).

Информационная перезагрузка в супериндустриальном обществе

Каждая личность несет в своем сознании ментальную модель мира – субъективный образ объективного существования мира вне нас. Одним из первых ментальный образ современного человека постиндустриальной цивилизации представил Алвин Тоффлер в книге «Футурошок».

Любая индивидуальная ментальная модель вмещает в себя некие образы, которые близки к реальности. Модель реальности человека не является исключительно личным продуктом. Хотя некоторые его образы основываются на первичных наблюдениях, сегодня их возрастающее количество основывается на сообщениях, получаемых нами через средства массовой информации и окружающих нас людей, т. е. язык (Тоффлер 1997: 119). Язык средств массовой информации быстро и убедительно распространяет новые образы. Стремительно проносясь в абрисе нашего внимания, они сметают наши старые образы и создают новые. После выступлений и бунтов в черных гетто только человек с патологией мог бы придерживаться давно устаревшего взгляда о том, что негры – *счастливые дети*, довольные своей нищетой (Тоффлер 1997: 123).

Многотысячный ряд образов, программируемый супериндустриальным обществом, в нашей ментальной модели преобразуется в символы реальности, поскольку мы получаем из внешнего мира теперь кодированные сообщения: все языки слов или жестов, барабанные удары или танцевальные па, иероглифы, пиктограммы или расположенные в определенном порядке узелки веревки являются закодированными. Сегодня большая часть наших образов извлекается из искусственных языковых сообщений, а не из личных наблюдений *сырых*, *незакодированных* событий. Кроме того, мы также можем заметить едва уловимые, но

существенные различия типов закодированных сообщений. Для неграмотного сельского жителя аграрного общества прошлого большая часть поступавших сообщений была, что называется, случайной или *доморощенной* информацией. Если раньше крестьянин мог вступать в обычную домашнюю беседу, добродушно подшучивать, вести разговор в трактире или таверне, досадуя, жалуясь, хвастая, вести ребяческий и в некотором смысле банальный разговор, то сейчас он слушает новости, смотрит спектакли с тщательно написанными сценариями, телевизионные передачи, фильмы, слышит много музыки, т. е. читает тысячи слов в день, каждое из которых хорошо отредактировано, закодировано для того, чтобы произвести быстрое воздействие, изменяя образ реальности. Эта информация является хорошо отредактированным *сказом* и репрезентирует таким образом скоротечно меняющуюся реальность.

Индустриальная революция способствовала быстрому развитию средств массовой информации, которая намеренно должна вызывать максимальное увеличение информационного объема. Информация является, как говорит теоретик информации, *информационно богатой*: либо увеличиваются новые знания, либо становятся устаревшими прежние, а вместе с этим адекватно меняется и образ жизни. Так, фрейдистская волна, прокатившаяся по всему миру, изменила представления матерей о воспитании детей. Следуя новым ментальным установкам, они отказывались кормить младенцев по требованию, брать их на руки, когда они плачут, рано отнимали их от груди, избегая затянувшейся зависимости. Новый образ ребенка, созданный фрейдизмом, изменил практически все установки и поведение по отношению к отлучению от груди, сосанию пальца, мастурбации, приучению к горшку, правилам обращения с ребенком и потребностям *орального удовлетворения*. В отличие от прежнего образа аналитика как зако-

плексованного *инициатора* появился мудрый и симпатичный чудотворец, способный исправить деформации поведения.

Многотысячный ряд образов нашей ментальной модели появляется под воздействием того интенсивного роста сообщений, которые устремляются в наше сознание. Море закодированной информации, окружающей теперь человека благодаря радио, телевидению, газетам, журналам и романам, начинает переполнять его сознание с новой настойчивостью (Тоффлер 1997: 127). Тоффлер пишет, что в Соединенных Штатах сегодня взрослый человек около часа своего времени отводит на чтение газет, также *тратит время* на чтение журналов, книг, вывесок, объявлений, рецептов, инструкций, этикеток на консервных банках, рекламы, размещенной на упаковках продуктов, и т. д. Окруженный печатной продукцией, он *проглатывает* от 10 до 20 тысяч печатных слов в день. Тот же самый человек также, вероятно, тратит четверть часа, час, а то и более в день, слушая радио. За время, в течение которого он слушает новости, рекламно-коммерческую передачу, комментарии и другие подобные программы, он воспринимает около 11 тысяч обработанных слов. Он также проводит несколько часов за телевизором, что добавляет еще 10 тысяч слов или около того, а также воспринимает ряд тщательно подобранных изображений. Это не означает, что лишь слова или изображения сообщают или вызывают образы. Музыка также воспроизводит образы, хотя происхождение этих образов и не вербальное (Тоффлер 1997: 128).

Несомненно, ничто не несет столь определенной направленности, как реклама, и сегодня средний взрослый американец ежедневно подвергается штурму не менее 560 рекламных сообщений. Все это олицетворяет давление составленных сообщений на его сознание. И это давление возрастает. Пытаясь передавать те же самые многочисленные образопроизводящие сообщения в том же быстром темпе, представители

средств массовой информации, артисты и другие люди, целенаправленно работающие над каждым кадром, выпущенным в эфир, несут более тяжелую информационную и эмоциональную нагрузку. Таким образом, мы видим широко распространенное и возрастающее использование символизма для сжатия информации. Сегодня люди, занимающиеся рекламой, обдумывая, каким образом передать индивидууму как можно больше сообщений в отдельно взятый момент времени, увеличили использование символических методов искусства. Бесспорным является тот факт, что процент поступающей информации увеличивается. Занятые люди путем невероятных усилий ежедневно обрабатывают столько информации, сколько возможно. Все это возбуждает и переполняет сознание. Даже музыканты сегодня играют музыку Моцарта, Баха и Гайдна в более быстром темпе, чем тот, в каком эта музыка исполнялась в эпоху, когда была написана (Тоффлер 1997: 130). Язык, пишет А. Тоффлер, испытывает потрясения, которые передает человеку.

Сегодня используемые нами слова меняются быстрее – и не только на уровне сленга, но на любом другом. Скорость, с которой они появляются и исчезают, значительно возросла. Это касается не только английского, но и французского, русского, японского языков: приблизительно из 450 000 слов, используемых в современном английском языке, возможно, лишь 250 000 были бы понятны Вильяму Шекспиру. Если бы Шекспир вдруг каким-то чудом оказался в современном Лондоне или Нью-Йорке, он смог бы понять в среднем пять из девяти слов нашего лексикона. Великий Поэт оказался бы полуграмотным. Это значит, что если язык в шекспировское время имел то же количество слов, что и сегодня, то по меньшей мере 200 000 слов, а возможно, и несколько больше, устарели и изменились за минувшие четыре столетия (Тоффлер 1997: 131). Это интенсивное изменение языка отражает из-

менение вещей, процессов и качеств в окружающей обстановке. *Тусовка, кастинг, пиар, наркоман, саммит, психоделический, гендер, кайф, компьютер, брэнд, Биттлз, космодром, спутник, стыковка, партнер, дискотека, битник, хиппи, гёрл, кубист, артефакт* и т. д. – вот некоторые из слов, подтверждающих сказанное. Языковые превращения влекут за собой изменения невербальной формы информации, развитие жестового языка, который также претерпевает быстрые изменения. Некоторые жесты, ранее рассматривавшиеся как полунепристойные, становились отчасти более приемлемыми по мере того, как менялись сексуальные ценности в обществе; знак *победы* «V» сейчас используется протестующими для обозначения чего-то совершенно отличного: *мир*, а не *победа* (Тоффлер 1997: 133).

Непрерывное и все более ускоряемое замещение старых, ежедневно используемых вещей новыми корректирует скорость, с которой происходят философские и художественные революции (Тоффлер 1997: 134). Ни одна школа или стиль – от футуризма до фовизма, от кубизма до сюрреализма – не доминировали так долго, как импрессионизм. Один за другим стили вытесняли друг друга: абстрактный импрессионизм, бурный *поп*, *поп-арт*, затем *кинетик-арт*, постмодернизм – все это свидетельствует о временной культуре, в которой мы живем (Тоффлер 1997: 136). Язык искусства отображает эту новую реальность. В искусстве, как и в языке, господствует непродолжительность. Связь человека с символической образностью становится все более и более временной, констатируя все более ускоряющуюся темпоральность бытия, от которой отстают психические возможности человека, вызывая шок и стрессы от новой реальности, зафиксированной в информационной *загрузке*. Дизайнерский язык современной рекламы не только демонстрирует предметы, но и создает потребности в них. *Копирайторы ломают головы над возбуждающими вооб-*

ражение словами, способными многократно усилить воздействие рекламного изображения (Павловская 2004: 153), и добиваются формирования метапотребностей, по Г. Меррею, в самоуважении, достижении, автономии, противодействии, защите, уважении, доминировании, эксгибиции (произведении впечатления), избегании ущерба, опеке, порядке, игре, сексе, поддержке, понимании и т. д. *Есть потребность – появиться и предмет*: такова цепочка рекламной легитимации потребностей путем их визуальной и/или вербальной материализации. Иными словами, будучи предъявлена потенциальному потребителю в рекламном образе, который всегда характеризуется массовым распространением, потребность становится социально оправданной и санкционированной (Павловская, Е. 2004: 153–157). Возникает назойливый и утомительный с точки зрения человеческой психики (не рекламы) порочный круг: бесконечность образов – бесконечность потребностей, бесконечность потребностей – бесконечность образов. Таков небезобидный сказ рекламного языка. Информационная революция нашего времени трансформировала мир в мир знаков и семиотических кодов, сделав знак тотально предшествующим вещи. Дальнейший анализ знаковых структур, отказ от линейности в развитии культуры привел к появлению постмодернизма с его смысловой незавершенностью текста и способной его креативной интерпретации.

Постмодернизм и языковые интерпретации культуры

В соответствии с ключевым понятием **постмодернизма** – *деконструкция* – мир, поскольку он представляет собой в очередной раз сотворенный текст, нуждается в новой языковой интерпретации. При этом необходимо исходить из нового понимания бинарных оппозиций смысла. До сих пор

философия выстраивала мир, исходя из позитивного ряда категорий – гармонии, порядка, целостности. В этой картине мира предпочтение отдавалось прекрасному, истине, добру. Эти *благополучные категории* рассматривались как укорененные в самой структуре мира и на этом основании предопределенные господствовать. Совсем другой язык мира предлагает постмодернизм. Благополучные категории в его логике оказываются лишь конформистским допущением. Необходимо прислушаться, т. е. придать значение ранее отвергавшимся силам хаоса, зла, беспорядка, безобразного, потому что именно они ответственны за динамику мира. Жак Деррида первый эмансипирует униженные элементы бинарной оппозиции мира, т. е. мефистофелевский ряд отрицания и зла как важнейшие силы мировой динамики. Постмодернистские интерпретаторы, согласно концепции игровых комбинаций краткосрочных проектов жизни, обвиняют других в приверженности невежественному традиционализму и дают перспективу практике не-наличия, т. е. в повседневности практики неоплаченных векселей, симулякров, знаков без означаемого. Они адресуют свой язык личности, которая непрерывно пересматривает свою идентичность, рвет с любыми устойчивыми обязательствами, пребывает в неуловимом *игровом модусе*. Этот язык трансплантирует знаки вместо реальности: знаки вместо реального потребления, реальной демократии, реальной ответственности, уходя от реальности в *игровой контекст* жизни без различения добра и зла в деконструированном опыте общественной морали, нравов зоны и тюрем, идеалов без прототипов, абсурда, секса вне любви, ненормативной лексики, некрофильства, каннибализма и т. п. Все это присутствует в языке отечественных талантливых постмодернистов – писателей В. Пелевина и В. Сорокина, демонстрируя свободу от всяких обязательств. Во имя чего? Видимо, во имя полной свободы самовыражения.

Если раньше народная культура тяготела к теллургическому модусу телесности, созная, что это еще не вся культура, то современная постмодернистская элита по принципу инверсии выступила с миссией реабилитации тела и инстинкта и дискредитацией духовно-возвышенного. Деконструкция предстает как опыт снятия моральных барьеров репрессивной культуры, свобода секса и девиантного поведения сексуальных меньшинств. Тело гуляет само по себе, освобожденное от языка нравственности, национальных традиций и культуры. Дискурс постмодернизма приводит к неоязыческой вере, связанной с культом телесности. К какой перспективе ведет эта ротация символических форм постмодернистского деконструктивизма? Войдут ли в арсенал новых творцов символического нынешние наработки постмодернистского деконструктивизма? Остается надеяться, что фаза *деконструктивистской иронии* и скептицизма (Крутоус 2005: 185) сменится фазой нового смыслосозидания. Необходимо, по мнению А. С. Панарина (Панарин 2002: 31), нарастить символический капитал, в недрах которого создаются более масштабные синтезы и открываются долгосрочные перспективы. По мнению проницательного искусствоведа А. П. Давыдова, такие перспективы открываются в творчестве В. Пелевина, и они связаны с изменением типа русской культуры, всех ее культурных оснований. «Изменить тип культуры, – пишет он, – значит, превратить культуру из статичной в динамичную, из монологической в диалогическую, из соборно-авторитарной в личностную. Это значит – превратить русского человека из мыслящего абсолютами, крайностями, мистериями и утопиями в самокритичного человека, способного к переосмыслению господствующих в нем абсолютов; превратить *нравственного калеку* в личность; вернуть борьбу с засилием традиционности в культуру, обществе, менталитете и положить в основание мышления личностные

ценности и демократические приоритеты» (Давыдов 2005: 372). К проблеме изменения типа русской культуры как способа бытия человека взывает голос российской писательской мысли пушкинско-лермонтовского направления, к которому присоединяется в конечном счете и В. Пелевин, чтобы избавиться от *нравственного калеки, слабого человека* как субъекта русского бытия и в XX веке.

Выводы

Итак, начав с поэтического языка культуры, который у М. Хайдеггера выступает пастухом бытия человека и его присутствия в культуре, и выяснив, что слово дает бытие предмету, обозначили в цивилизационном контексте А. Тойнби, что взаимоотношения слова и вещи не так поэтичны и в историческом континууме подвержены закону этерификации, который, согласно Тойнби, является одним из принципов цивилизационного развития. Не отменяя поэтичности поэтического языка, этерификации подвергся великий и могучий русский язык благодаря таланту А. С. Пушкина, что является, разумеется, темой другого исследования и не лежит в нашем контексте *каза бытия*. Как складывались отношения слова и вещи в зависимости от развития эпистемологии трех эпох (Ренессанса, классицизма и современности) прослежено М. Фуко, который показал, что сначала эпистемологическая интерпретация шла от мира к Слову, который расшифровывался в Божественной речи; в Новое время язык собирает в себе тотальность мира и выступает его Энциклопедией; в современности, начиная с XIX века, слова опосредованы важнейшими трансценденталиями бытия, каковыми выступают биологический род и социальный статус человека (труд и сам язык). Только таким образом можно было выстроить в слове понимание онтологической и антропологической карти-

ны бытия, подробностей интерпретации которых в данной статье не удалось коснуться, включая спорную проблему смерти человека как такового, впервые поднятую М. Фуко.

Репрезентация бытия в слове, которое было целенаправлено и усилено развившимися средствами массовой информации в супериндустриальном обществе, как его называет выдающийся теоретик цивилизационного развития А. Тоффлер, была подкреплена индустрией современного дизайна, который в рекламе формирует бытие человека общества массового потребления. Параллельно с массовой культурой эксклюзивно возникший постмодернизм выстроил в тексте новые ряды бинарных знаковых оппозиций, спровоцировав возникновение российского художественного постмодернизма как исключительно талантливого феномена. Его жизнеспособность обусловлена разрушением до основания тоталитарного бытия, для чего потребовался эпатажный язык абсолютного беспредела как реализации освобождения от жестко запрограммированных норм бытия. Однако на пути позитивных репрезентаций и перспектив эта художественная форма берет на себя культурологические задачи изменения типа русской культуры путем освобождения от бытийствования типа *лишнего человека*, который теперь обнаружил себя как *слабый человек*, до сих пор не ставший субъектом своей культуры. Но пока мы не знаем того искомого бытия, поскольку оно не выговорено (нет вещи там, где слова нет, а если дословно: *не быть вещам, где слова нет*), есть только подступы к формированию субъекта мысли, слова и, следовательно, бытия.

Литература

Гадамер, Х.-Г. 1988. *Истина и метод: Основы философии герменевтики*. Москва: Прогресс. Temp\Par\$\Ex01\266\tojnbi.htm

Гесиод. 2001. „Теогония“, в кн.: *Полное собрание текстов*. Москва: Лабиринт.

Давыдов, А. П. 2005. «Русская художественная литература в условиях глобализации (Творчество В. Пелевина: предчувствие неоклассики)», в кн.: *Культура на рубеже XX–XXI веков: глобализационные процессы*. Москва: Государственный институт искусствознания, с. 364–388.

Крутоус, В. П. 2005. «Постмодернизм – современная форма скептицизма», в кн.: *Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24–28 мая 2005 г.)*. Т. 4. Москва: Современные тетради.

Павловская, Е. 2004. *Дизайн рекламы: поколение NEXT*. Санкт-Петербург: Питер.

Панарин, А. С. 2002. *Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств*. \2002\htm\32с.

Тойнби, А. 1990. *Постижение истории*. Москва: Прогресс.

Тондл, Л. 1975. *Проблемы семантики* / Пер. с чешского. Москва: Прогресс.

Тоффлер, А. 1997. *Футурошок*. Санкт-Петербург: Лань. Temp\Par\$.Ex01.266\TofflerFS\text.htm

Фуко, М. 1994. *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. Санкт-Петербург: А-cad.

Хайдеггер, М. 1991. *Язык*. [htm/1991/](http://1991/)

Хайдеггер, М. 1993а. «Письмо о гуманизме», в кн.: *Время и бытие*. Москва: Республика, с. 192–220.

Хайдеггер, М. 1993б. «Путь к языку», в кн.: *Время и бытие*. Москва: Республика, с. 259–272.

Хайдеггер, М. 1993с. «Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим», в кн.: *Время и бытие*. Москва: Республика, с. 273–301.

Хайдеггер, М. 1993д. «Слово», в кн.: *Время и бытие*. Москва: Республика, с. 302–311.

KALBOS TARTIS KAIP BŪTIES RODMUO: NUO HEIDEGGERIO IKI POSTMODERNIZMO

Liubov Sysojeva

Straipsnyje plėtojama M. Heideggerio mintis apie tai, kad kalba yra drauge būties vaizdas ir vedlys. Heideggerio koncepcijoje tai – poetinė kalba pagal principą „kur nėra žodžio, nėra ir daiktų“. A. Toynbee's kalbos ir gyvenimo sąsajas išreiškia savo eterifikacijos (supaprastinimo) principu, o epistemologijoje, pasak M. Foucault, tarp žodžio ir daikto nustatomi skirtingi santykiai, atsižvelgiant į epochą. Renesanso metu pasaulio intencija veda į Žodį, iššifruojamą kaip dieviška kalba, Naujaisiais laikais kalba sutelkia pasaulio visybę ir iškyla kaip jo Enciklopedija, šiuolaikiniame mąstyme, pradedant XIX a., žodžio ir būties supratimo ryšys įtarpintas tokiais fenomenais kaip žmogaus biologinis organizmas ir jo darbas. Poindustrinėje visuomenėje užkoduotas informacijos srautas, sukeldamas žodinę-vaizdinę žmogaus perkrovą, liudija apie naują laikiską būtį. Postmodernizmas, pristatęs pasaulį kaip tekstą, legitimavo anksčiau uždraustą binarinių opozicijų seką ir suteikė žodį būties negatyvizmui. Rusų meno postmodernizmas, siekdamas sukurti naujo tipo kultūrą, pasinaudojo šia legitimacija silpnam žmogui pašalinti iš rusų kultūros.

Reikšminiai žodžiai: kalba, būtis, sąmonė, informacija, esatis, tartis, hermeneutika, šneka, daiktas, civilizacija.

LEXICON OF LANGUAGE AS IMAGE OF BEING: FROM M. HEIDEGGER TO POSTMODERNISM

Ljubov Sysoyeva

In the article M. Heidegger's idea, that language is image of being and simultaneously its guidebook, is used. According to M. Heidegger's concept, it is a poetic language following the principle: "There are no things where words are not present". A. Toynbee submitted implicitly of the language of being by the principle of etherification (simplification), and in epistemology, according to M. Foucault, between a word and a thing different relations are established, depending on an epoch. In the Renaissance, intention goes from the world to the Word that is deciphered in Divine Logos. During New time, language collects the totality of the world within itself and acts as its Encyclopedia. In the Modernity, since the 19th century, interrelation between a word and understanding of being is mediated by such phenomena as a biological organism of a person and his work. In a superindustrial society, the coded stream of information testifies about a new temporal being, causing pictorial-verbal reloading of a person. Having presented the world as a text, the Postmodernism legitimated the number of earlier forbidden binary oppositions and has given a word to negativism of being. Russian artistic postmodernism made use of experience in the performed legitimization for deleting "a weak person" in the domestic culture with intention of creating a new type of culture because of unsuitability of the old one.

Keywords: language, being, consciousness, information, presence, lexicon, hermeneutic, speech, thing, word, civilization, etherification, episteme, discourse, interpretation, text, mentality, image, postmodernism, culture, deconstruction.

Įteikta 2006-05-15; priimta 2007-01-08